

18+

ПИТЕР АКРОЙД

ИСТОРИЯ АНГЛИИ

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ

От битвы при Ватерлоо
до Бриллиантового юбилея королевы Виктории

История Англии

Питер Акройд

**Расцвет империи. От битвы при
Ватерлоо до Бриллиантового
юбилея королевы Виктории**

«Азбука-Аттикус»

2018

УДК 94(410)
ББК 63.3(4Вел)

Акройд П.

Расцвет империи. От битвы при Ватерлоо до Бриллиантового юбилея королевы Виктории / П. Акройд — «Азбука-Аттикус», 2018 — (История Англии)

ISBN 978-5-389-20979-4

История Англии – это непрерывное движение и череда постоянных изменений. Но всю историю Англии начиная с первобытности пронизывает преемственность, так что главное в ней – не изменения, а постоянство. До сих пор в Англии чувствуется неразрывная связь с прошлым, с традициями и обычаями. До сих пор эта страна сопротивляется изменениям в любом аспекте жизни. Питер Акройд показывает истоки вековой неизменности Англии, ее консерватизма и приверженности прошлому. Повествование в этой книге начинается с анализа причин, по которым национальная слава после битвы при Ватерлоо уступила место длительному периоду послевоенной депрессии. Освещаются события времен Георга IV, чьим правительством руководил лорд Ливерпул, решительно настроенный против реформ, и правление Вильгельма IV, прозванного «Король-моряк», чья власть ознаменовалась модернизацией политической системы и отменой рабства. Начало эпохи важнейших инноваций положило восшествие на престол королевы Виктории в возрасте восемнадцати лет. Всю страну охватил технический прогресс, появление среднего класса изменило облик общества, а научные достижения трансформировали старые взгляды Англиканской церкви и способствовали распространению светских идей. Интенсивная индустриализация принесла владельцам фабрик успех и процветание, но рабочие классы по-прежнему страдали в условиях плохого жилья, продолжительного рабочего дня и крайней нищеты. И вместе с тем это было время расцвета литературы: читатели получили возможность наслаждаться творчеством поэтов – Байрона, Шелли и Вордсворта, а также великих романистов XIX века: сестер Бронте, Джордж Элиот, Элизабет Гаскелл, Теккерея и Диккенса, с чьими произведениями стала ассоциироваться викторианская Англия. В политике

экспансионизм уже не ограничивался самой Британией: к концу своего правления Виктория стала императрицей Индии, а Британская империя доминировала на большей части земного шара и подтвердила свое право считаться «владычицей морей». Глубокий, многомерный исторический анализ сопровождается множеством литературных цитат и богатым иллюстративным материалом. В формате PDF А4 сохранён издательский дизайн.

УДК 94(410)

ББК 63.3(4Вел)

ISBN 978-5-389-20979-4

© Акرويد П., 2018

© Азбука-Аттикус, 2018

Содержание

1	7
2	13
3	24
4	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Питер Акройд
Расцвет империи
От битвы при Ватерлоо до Бриллиантового юбилея королевы Виктории

Peter Ackroyd
THE HISTORY OF ENGLAND
Volume V. Dominion

Впервые опубликовано в 2018 году издательством Macmillan, импринтом Pan Macmillan
Перевод с английского Виктории Степановой

© Peter Ackroyd, 2018
© Степанова В. В., перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2021
КоЛибри®

* * *

Информативное исследование основных тенденций, определивших ход развития Англии в период раннего Нового времени.
Publishers Weekly

Достойное продолжение интереснейшей серии книг потрясающего рассказчика и внимательного историка.
Christian Science Monitor

Мастерски проведенная оценка эпохи, которая ознаменовалась изменениями во всех областях жизни.
History Revealed

Захватывающая панорама жизни общества, заключенного в тиски стремительных перемен, касающихся индустриализации, урбанизации, появления железных дорог и электрического телеграфа.
Times

1

Озлобленные души

Уильям Мейкпис Теккерей завершает написанный в середине XIX века роман «Ярмарка тщеславия» (1848) следующими назидательными словами: «Ах! Vanitas Vanitatum! Кто из нас счастлив в этом мире? Кто из нас получает то, чего желает его сердце, а получив, не жаждет большего?.. Давайте, дети, сложим кукол и закроем ящик, ибо наше представление окончено»¹.

Теперь пришло время снова открыть ящик, смахнуть с кукол пыль и поставить их на ноги. Это уже не персонажи романа, а герои викторианского мира, который окружает и одухотворяет их, придавая им характерные нотки лукавства, корысти и жизнерадостности.

Предыдущий том окончился заключением всеобщего мира и удалением со сцены Наполеона Бонапарта. Радости мирного времени оказались как нельзя более мимолетными. Со времени создания в 1793 году Первой коалиции прошло двадцать с лишним лет. Все это время нужды армии и флота, потребности людей и настойчивость союзников побуждали фермеров, промышленников и торговцев активно заниматься своим делом и зарабатывать деньги. Казалось, спрос на зерно, хлопок и оружие будет всегда высок, но, увы, это не так. В 1815 году в Annual Register отмечали, что приметы «национального величия» повсеместно вытеснены «признаками всеобщего упадка».

И все же Веллингтон по-прежнему был национальным героем, а Британия вышла победительницей гонки, утвердив новую власть в мире. Так или иначе, она приобрела семнадцать новых колоний со всем сопутствующим престижем и влиянием и сохраняла их не менее полувека. Впрочем, не имело смысла рукоплескать уходящим волынщикам, когда им некуда было идти. Те ветераны, которым повезло больше остальных, смогли вернуться к своим прежним занятиям, но многих уволенных с военной службы ожидали жизнь в нищете и бродяжничество. Впрочем, некоторым все же пригодился армейский опыт, когда они занялись организацией маршей луддитов и возглавили бунтовщиков, разъяренных голодом и отсутствием работы.

Послевоенный упадок продолжался около шести лет, и публике, слабо разбирающейся в хитросплетениях экономики, нужно было найти то или тех, кто мог быть в этом виновен. Разумеется, вину за происходящее возложили на правительство – или, скорее, на бессилие и распушенность тех, кто им руководил. Раздавались призывы «удешевить правительство», хотя никто толком не знал, как этого добиться. Страх и ненависть, которые навлек на себя правящий класс, никуда не исчезли и во многом повлияли на дальнейшие беспорядки и призывы к политической и избирательной реформе.

Немало людей в то время еще продолжало жить на старый лад. Некоторые джентльмены все так же выпивали перед сном пару бутылок портвейна, хотя пьянство уже решительно выходило из моды. Другие по-прежнему преклонялись перед королевским двором и высшим обществом, пока на первые места в мире выходили торговцы и приобретенные торговлей состояния. Богатые жители лондонских пригородов продолжали держать свиту лакеев и несколько экипажей с кучерами в напудренных париках. Счетные конторы и торговые предприятия Сити вели дела на условиях полной анонимности – рекламой им служила лишь медная пластинка под дверным звонком. На центральных улицах едва могли разехаться, не столкнувшись, две нагруженные пивными бочками телеги. Все мужчины и женщины знали, какое место они занимают в обществе сообразно своему рангу, достатку и возрасту.

Во втором и третьем десятилетии XIX века наблюдатели стали замечать в обществе новые настроения, новый дух серьезности и целеустремленности. В эту эпоху жили персонажи

¹ Перевод М. Дьяконова. – Здесь и далее, если не указано иное, прим. перев.

романов Чарльза Диккенса Мартин Чезлвит, Николас Никльби, Филип Пиррип по прозвищу Пип – и, конечно, сам Диккенс с его ясным взглядом и быстрой походкой, которому ничего не стоило пройти пешком 30 миль (48 км). Нравственные качества этих вымышленных персонажей как нельзя лучше соответствовали наступившим новым временам. На следующий день после смерти Диккенса в Daily News написали: «В созданных им картинах современной жизни потомки смогут увидеть жизнь и характеры XIX века яснее, чем в записках современников». Очертания XIX века встают перед нами в романах и повестях многих других авторов: мы видим ту задумчивую меланхолию и фривольный юмор, боязливость и поэзию утраты, жалость и способность к чудовищным злодеяниям, иронию и неуверенность в себе, умение прочно стоять на ногах в материальном мире и в то же время стремиться (по крайней мере, если говорить о серьезном среднем классе) к духовному и трансцендентному. И все же мы не можем подойти к нашим предкам совсем близко. Их мир – не наш. Если бы человек XXI века оказался в таверне или ночлежке того времени, ему, несомненно, стало бы дурно – от запахов еды и самой еды, от чужого дыхания и общей атмосферы вокруг.

Главным в те годы было слово «хватка», подразумевавшее такие качества, как отвага и способность преодолевать любые препятствия. Кроме того, это называли «характер» и «стойкость» – то был своего рода глубокий вдох перед прыжком в быструю воду Викторианской эпохи. Людям тогда приходилось, как выразился один священник, «нестись по течению через пороги». От тех, кто жил до них и после них, они отличались безоговорочной верой в силу человеческой воли, – какой бы религии они ни придерживались, этот принцип лежал в основе их мировоззрения. Они были готовы, собрав все силы, решительно идти до конца. Отсюда возник культ независимости, позднее увековеченный в принципе «помоги себе сам», который проповедовал Сэмюэл Смайлс. Он составлял часть знакомой каждому «жизненной битвы», складывающейся из ясно обозначенного долга и усердного труда. Работа была величайшей из наук. Она требовала решительности, твердости, энергии, настойчивости, педантичности и непреклонности. Это были главные добродетели грядущей Викторианской эпохи.

Общество помолодело, в том числе благодаря поразительному росту рождаемости: если в 1811 году численность населения составляла 12 млн человек, к 1821 году она достигла 14 млн, а к 1851 году – 21 млн человек. Около половины из них были моложе 20 лет и жили в городских или приближенных к городским условиях. Причины этого огромного прироста до конца не поддаются объяснению, – можно предположить здесь естественную реакцию страны, стоящей на пороге грандиозных перемен; свою роль, очевидно, сыграло и снижение детской смертности. Там, где современное домохозяйство состоит из 3–4 человек, в начале XIX века их было 6–7. Большие семьи никого не удивляли. Религиозная перепись 1851 года показала, что по воскресеньям места религиозного поклонения посещают 7 млн человек, примерно половину из которых составляют англиканцы. Однако, по данным того же опроса, 5,5 млн человек не считали нужным посещать какие-либо храмы или церкви. Англия находилась в состоянии шаткого равновесия, за которым, с точки зрения религии, могло последовать только падение вниз.

Возможно, именно молодостью нации объясняется царившее везде и всюду оживление. Кредо серьезности просуществовало почти сто лет и на исходе этого срока было высмеяно Оскаром Уайльдом, а в те ранние годы самым модным танцем был вальс, появившийся в 1813 году и поначалу считавшийся «возмутительным и непристойным» из-за необыкновенной близости партнеров друг к другу. Он кружился и порхал по бальным залам Англии как символ безудержной, бьющей через край энергии эпохи.

В 1815 году победители обглодали кости старого мира на конгрессе в Вене. В Европе осталось четыре великие державы – Россия, Австрия, Пруссия и Великобритания, – три из которых были абсолютными монархиями, а последняя могла с натяжкой называться демократическим государством. Земной шар держали на плечах несколько человек. Одним из них был лорд Каслри, министр иностранных дел в Уайтхолле, всеми силами старавшийся сохра-

нить сложившиеся многовековые традиции и баланс сил. Само по себе могущество Англии никто не подвергал сомнению. Выступая перед палатой общин, Каслри сказал: «Люди в целом склонны приписывать нам заносчивую гордость, неоправданное высокомерие и надменную начальственность в политических вопросах» – и он не собирался всего этого отрицать. О Каслри также говорили, что он как волчок, который «тем лучше вращается, чем усерднее его подхлестывают».

Премьер-министр лорд Ливерпул сменил несколько министерских постов, но в кресле главного министра оказался уже после убийства Спенсера Персиваля в 1812 году. Он был тори вполне типичного для того периода образца: питал неприязнь к любым реформам и переменам, за исключением самых неспешных, и больше всего заботился о сохранении в существующем обществе гармонии или хотя бы ее видимости. О нем говорили, что в первый день Творения он умолял бы Господа немедленно прекратить этот беспорядок. Возможно, он, как многие его коллеги, мечтал о католической эмансипации и свободной торговле, но время этих решений еще не пришло. Его работа заключалась в поддержании собственного превосходства. Ливерпул мало чем запомнился современникам, однако его это не слишком волновало. Дизраэли называл его «архипосредственностью», и, может быть, именно в этом состояло его главное достижение. О нем можно сказать все, что обычно говорят о главных министрах: он был честен, он был тактичен. Кроме того, он был дипломатичен, осторожен и благонадежен (все три качества – верный способ кануть в забвение) и вполне безмятежно заседал в палате лордов, где было не слишком трудно прослыть человеком выдающегося ума. В 1827 году, пробыв на посту главного министра 15 лет, он вышел в отставку по причине слабого здоровья. Как только он ушел, о нем тут же забыли.

Прежде чем окончательно похоронить его под ворохом банальностей, обратим внимание на одну любопытную деталь. В напряженные моменты Ливерпул имел привычку плакать под влиянием так называемой слабости. Его считали чересчур сентиментальным, другое поколение сказало бы – слезливым. Просматривая *Morning Post*, он не мог сдерживать дрожь, а жена одного из его коллег, Чарльза Арбатнота, писала о его подчеркнуто холодной манере держаться и в высшей степени раздражительном, неустойчивом характере. Не слишком похоже на тактичность и внешнюю уравновешенность, которые на самом деле могли быть лишь маской, прикрывающей тревожность и глубокую неуверенность. Первые десятилетия XIX века и эпоху Регентства иногда представляют как время всеобщего легкомыслия, конец которому положила только крепко сомкнувшаяся на скипетре маленькая рука Виктории. Как сообщает современник Сидней Смит, в эти годы почти каждому было хорошо знакомо «стародавнее, глубинное чувство страха, от которого трясутся руки и сводит желудок». Убийство предшественника Ливерпула, Спенсера Персиваля, было воспринято публикой с явным удовольствием. В тот период ни в чем нельзя было быть уверенным: отовсюду доносились сообщения о беспорядках, слухи о заговорах и революциях, угрозе голода и новой европейской войны.

Лорд Ливерпул был тори в то время, когда метка принадлежности к партии мало что означала. Две основные партии, виги и тори, не имели никаких установленных порядков и представляли собой скорее разношерстные фракции под руководством сменяющихся временных лидеров. В 1828 году герцог Кларенс сказал: «Эти имена могли что-то значить сто лет назад, но сейчас превратились в бессмыслицу». Виги лишились власти в 1784 году, когда превратились из удобных для короля держателей полномочий в противостоящую ему олигархическую фракцию. Тори под руководством Уильяма Питта захватили власть и не горели желанием ее возвращать. Уильям Хэзлитт сравнивал партии тори и вигов с двумя дилижансами, которые поочередно вырываются вперед на одной дороге, обдавая друг друга грязью.

Тори жаловались на негативное отношение вигов к королевской прерогативе и стремление к реформам, в том числе к католической эмансипации. Виги, в свою очередь, считали, что тори глухи к народным требованиям и слишком снисходительны к исполнительной вла-

сти. В остальном они почти ничем не отличались. Маколей пытался с достоинством обозначить позиции обеих партий, назвав одну из них защитницей свобод, а другую – хранительницей порядка (что говорит о его выдающейся способности упорядочивать мир с помощью слова). Лорд Мельбурн, будущий главный министр из партии вигов, просто говорил: «Все виги – кузены». Именно эта семейственность подрывала их положение. В поэме «Дон Жуан» (1823) Байрон писал об этом:

Все мчится вскачь: удачи и невзгоды,
Одним лишь вигам (господи прости!)
Никак к желанной власти не прийти².

Политика вершилась словно за занавесом. Кабинеты часто созывались без какой-либо цели или повестки дня, и министры могли только догадываться, зачем они вообще собрались. Протоколы заседаний не велись, и только премьер-министру разрешалось делать записи, которые не всегда были надежными. До 1830-х годов партийные лидеры крайне неохотно высказывались на тему государственной политики, так как это могло быть компрометирующим. Списки избирателей сбивали с толку и одновременно были довольно случайными, и на голосование могла влиять одна важная персона или один преобладающий вопрос.

У Ливерпула было множество прозвищ – в числе прочего его называли «Старая плесень» и «Большой переполох» (*Grand Figitatis*). В его защиту заметим, что у него было более чем достаточно поводов для волнения. Послевоенный упадок во всех областях жизни заставил всколыхнуться ожесточившуюся за годы войны страну. Интересы сельского хозяйства противоречили интересам правительства: приток дешевого иностранного зерна привел к резкому снижению цен, однако попытка искусственно поднять цены на зерно могла спровоцировать народные волнения. Что делать? Фермеры опасались, а многие люди, наоборот, надеялись на неизбежное развитие свободной торговли. Однако снижение цен и прибылей привело к тому, что многие остались без работы, и число безработных еще увеличилось за счет притока ветеранов войны. Это происходило каждый раз, но, очевидно, никто никогда не был к этому готов. Работы почти не было, платили мало, – единственным, чего хватало с избытком, была безработица. Озлобленные люди могли в любой момент обратиться к насилию.

Беспорядки начались в 1815 году в Северном Девоне и в следующие месяцы охватили всю страну. К недовольным присоединились те, кто выступал за промышленную реформу, в частности за ограничение детского труда. Многие считали, что практические перемены к лучшему действительно возможны. Из этого рождалась агитация за политические реформы. Кроме того, надо было что-то делать с миллионами новых подданных существенно разросшейся империи. Как быть, например, с ирландцами, которые с 1800 года входили в состав Соединенного Королевства? Один из министров, Уильям Хаскиссон, отмечал, что все партии «не удовлетворены и встревожены» сложившимся положением дел.

В 1815 году по земле еще не ходили поезда, а по воде не плавали пароходы. До появления на улицах Лондона конных железных дорог и омнибусов оставалось тринадцать лет. Все люди, за исключением самых важных и высокопоставленных особ, ходили пешком. Ежедневные поездки в дилижансе обходились слишком дорого, поэтому огромные толпы людей передвигались на своих двоих. Вскоре после рассвета в потоки измученных пешеходов со стертymi ногами вливались клерки и посыльные, спешащие с окраин на службу в Сити. Подмастерья подметали полы в лавках и поливали водой мостовую перед входом, в пекарнях уже толпились дети и слуги. Если повезет, вы даже могли увидеть в окрестностях Скотленд-Ярда танцующих

² Перевод Т. Гнедич.

угольщиков. В этот ранний утренний час, как и в любое другое время суток, единственным развлечением для бедняков оставались плотские утехы. Аллеи и кусты исполняли роль общественных туалетов, а также служили для других, более интимных целей: соития с проститутками за пару пенсов были обычным делом.

Живший тогда в Лондоне Генри Чорли отмечал, что по утрам люди особенно стараются «продемонстрировать с лучшей (или худшей) стороны свою любовь к музыке и веселый нрав (или пустоумие), горляня под окнами модные новые песни». Популярные мелодии насвистывали на улицах и в тавернах, их скрипуче выводили шарманки. Печатные листки с нотами и стихами продавали на улицах, обычно в перевернутых зонтиках, и самые предприимчивые продавцы постоянно обновляли ассортимент. Уже принимались за работу торговки рыбой и зеленью, продавцы устриц, печеного картофеля и каштанов. Позднее, незадолго до полудня, поодиночке и группами появлялись негритянские певцы. Наблюдательный прохожий легко мог узнать дома ткачей в Спиталфилдсе, каретных мастеров в Лонг-Эйкре и часовщиков в Клеркенуэлле, палатки с подержанной одеждой на Розмари-лейн. Собачьи бои, петушинные бои, публичные казни, увеселительные сады и позорные столбы – все это усиливало общую атмосферу оживленного действия.

Ночи стали светлее. Раньше Лондон освещался по ночам только свечами и масляными лампами, но затем в игру вступили силы газа и пара. Газ одел улицы сиянием, затмившим все остальные источники света. Агитаторы и передовые политические мыслители с самого начала были правы. В конце концов, это была эпоха прогресса. Страна постепенно расставалась с приметами XVIII века. Правда, желудки бедняков по-прежнему пустовали. Не для них открывались таверны и мясные лавки, и даже картошка за пенни была им недоступна.

В марте 1815 года был принят Хлебный закон, запрещавший ввоз иностранного зерна до тех пор, пока собственный продукт не достигнет стоимости в 80 шиллингов за бушель. В результате цены взлетели слишком высоко. Не получив никакой поддержки, бедняки и недозвольные начали бунтовать. Члены парламента жаловались, что их бросает туда-сюда, словно волан между ракетками игроков. Лишь немногие из них разбирались в экономической теории, хотя еще в 1807 году отец Джона Рескина писал: «Великая наука, первая и наиглавнейшая из наук для всех людей. . . это наука политической экономии». С тем же успехом фермеры могли бы сами заниматься высокими расчетами, привычно полагаясь на наблюдение и опыт, здравый смысл и «Альманах старого Мура» (Old Moore's Almanack).

Рецессия набирала обороты. Роберт Саути писал в *British Review*: «Горестно созерцать приметы крайней нищеты в центре цивилизованного и процветающего государства». Вызванные Хлебным законом волнения в Лондоне ни к чему не привели, но в Ноттингеме вернулся луддизм. Беспорядки развернулись от Ньюкасла-на-Тайне до Норфолка, а также в Саффолке и Кембриджшире. В 1816 году отряды безработных прошли через Стаффордшир и Вустершир. Сообщалось, что большое количество людей «маршируют по улицам, собираются группами и изъясняются в самых угрожающих выражениях». В газете *Liverpool Mercury* в конце года писали: «Скорбь царит в наших домах, голод на наших улицах – более четверти населения страны живет на подаяние». Накал страстей в публичной прессе повышали такие издания, как *Black Dwarf* и *Weekly Political Register* («Еженедельный политический реестр») Коббета. Их выпускали и распространяли радикальные общества, самым эффективным среди которых была сеть Хэмпденских клубов, зародившаяся в Лондоне и вскоре перекочевавшая на северо-восток. Подписка стоимостью пенни в неделю считалась не слишком дорогой платой за возможность распространить среди прядильщиков, ткачей, ремесленников и заводских рабочих сведения о взяточничестве и коррупции государственных чиновников. Многие опасались, что в руки радикалов могут попасть рычаги массового движения. Собственно говоря, именно тогда появилось слово «радикалы» – так называли любую группу «озлобленных душ», которые, говоря словами викария из Харроу, «отрицали Писание» и «презирали все государственные

устой страны». Министр внутренних дел открыто называл их врагами общества, и некоторое время любое диссидентское или оппозиционное течение автоматически считалось «радикальным».

Кроме того, возникла еще одна крупная дилемма. В своих «Наблюдениях о влиянии промышленной системы» (*Observations on the Effect of the Manufacturing System*; 1815) Роберт Оуэн отмечал: «Промышленная система производства уже так широко распространила свое влияние в Английской империи, что произвела существенное изменение в общем характере народных масс». Люди превращались в специализированные механизмы, предназначенные только для извлечения прибыли для своих работодателей. Машины поощряли и обеспечивали разделение труда, при котором каждый рабочий играл относительно простую и четко определенную роль. Машины гарантировали единообразие работы и однородность продукта, не допускали сбоев по причине невнимательности и лени. Вместе с машинами пришла рациональная и упорядоченная система труда. Это произошло тихо и почти незаметно. Теперь экономисты и образованные земледельцы хотели разобраться в сути происходящего и открыть новую главу жизни. Среди первых слушателей технических и финансовых лекций были Роберт Пиль и Джордж Каннинг, два тори с блестящим будущим.

Монархом номинально оставался Георг III, но к этому времени он окончательно впал в безумие. Страной правил регент, принц Уэльский, о котором герцог Веллингтон отзывался так: «Худший человек, которого мне приходилось встречать, самый себялюбивый, самый неискренний, самый злонравный, полностью лишенный каких бы то ни было располагающих качеств». Именно в это время, когда в стране бушевали голод и беспорядки, принц-регент начал строить Королевский павильон в Брайтоне. Всю свою жизнь он гонялся за химерами и сооружал воздушные замки.

2

Та Тварь

Лицемерие густым облаком окутывало XIX век. Без него невозможно представить себе эпоху респектабельности. В 1821 году Байрон писал: «По правде говоря, величайший *primum mobile* Англии – это лицемерие. В политике, поэзии, религии, нравах – оно везде, многократно отраженное в самых разных явлениях жизни». Чтобы проиллюстрировать свою мысль, он грозил превратить Дон Жуана в методиста, но множество диссентеров и англикан тоже обращались к Богу только ради приличия. Лицемерие было зеркалом своекорыстия, замаскированного под благожелательность, жадности, выдающей себя за благочестие, «национальных интересов», в действительности отражающих интересы нескольких привилегированных семей. В лицемерии облачался политик, который улыбался, продолжая оставаться негодяем; на языке лицемерия говорили реформаторы нравственности, закрывавшие пабы по воскресеньям; и политический лексикон нации, который часто хвалили за классическую структуру и звучную риторику, базировался на лицемерии. Историки нередко изумляются многословности и пылкости членов парламента XIX века – но их слова были лицемерием. Большинство людей, обладающих хотя бы некоторой способностью к самоосознанию, понимали, что их убеждения и добродетели – пустой звук. Впрочем, следуя негласной общей договоренности, они продолжали поддерживать этот обман. Ни одна эпоха еще не была так озабочена тем, чтобы произвести правильное впечатление.

Лицемерие лежало в основе возникшего осенью 1815 года Четверного союза. Его предшественником был Священный союз, объединявший Россию, Австрию и Пруссию. Когда в межгосударственных делах начинают рассуждать о святости, это повод насторожиться. Было объявлено, что с этих пор страны станут руководствоваться в своей внешней политике чувствами взаимной любви и доброжелательности, но в действительности монархи боялись друг друга так же, как собственного народа. Каслри называл Священный союз «образчиком возвышенного мистицизма и бессмыслицы», рожденным в мыслях «не вполне твердого разумом» монарха. Однако он не сделал ничего, чтобы помешать принцу-регенту одобрить это начинание. Впрочем, толика любви и доброжелательности могла принести Англии некоторую пользу, поскольку Четверной союз был заключен с явным намерением укрепить монархическое единство и изгнать из своей компании династию Бонапартов. Итак, «Европейский концерт», главным дирижером которого был Каслри, начался со звонких фанфар.

Великий храм лицемерия в Вестминстере распахнул свои двери в начале 1816 года, и его прихожане хлынули в палату общин и палату лордов. Первую контролировал Каслри, вторую – лорд Ливерпул. Почему армию не расформировали полностью? Почему принц-регент явился на открытие парламента в маршальском мундире? Чем важен Королевский приют для детей военнослужащих? О настоящих невзгодах страны почти не говорили. «Я обеспокоен тем, что в вашем округе сложилось столь бедственное положение, – сказал одному из депутатов министр внутренних дел виконт Сидмут, – но я не вижу причин полагать, что его можно облегчить какими-либо действиями публичных собраний или даже самого парламента». Когда несколько стригалей попросили отправить их в Северную Америку, Ливерпул ответил, что станки в суконном производстве не могут быть остановлены.

Подходный налог, или налог на имущество, изначально вводился как чрезвычайная мера для военного времени, и после окончания боевых действий его должны были отменить. На заседании парламента в 1816 году правительство отозвало свое обещание и, к всеобщему гневу и смятению, высказало желание продолжать собирать налог в размере одного шиллинга с каждого фунта стерлингов. Заседание, как всегда, превратилось в громкую перепалку, и пра-

вительство проиграло голосование. Подоходный налог отменили: как вампиры стародавних времен, он не был мертв, а лишь погрузился в сон. Каслри писал своему брату Чарльзу: «Вы увидите, как мало то, что вы называете сильным правительством, способно повлиять на текущую ситуацию в этой стране». Многие уже критиковали Каслри, лидера палаты общин, как одного из виновников ужесточения внутренней политики. Шелли посвятил ему отдельное четверостишие в поэме «Маскарад анархии» (1819):

И вот гляжу, в лучах зари,
Лицом совсем как Кэстельри,
Убийство, с ликом роковым,
И семь ищеек вслед за ним³.

Разумеется, он был вовсе не так ужасен, каким его изображали, но любую добродетель нетрудно представить как замаскированный порок – спокойствие выдать за бесчувственность, а дружелюбие расценить как беспринципность. На самом деле он был в высшей степени тревожным и беспокойным человеком, и именно это состояние ума в конечном итоге подтолкнуло его к самоубийству. В то время его правительство осталось с доходом в 9 млн фунтов стерлингов, при этом расходы составляли 30 млн фунтов стерлингов. Ему пришлось в числе прочего ввести косвенные налоги на ряд товаров. На одной карикатуре того времени канцлер казначейства Николас Ванситтарт выныривает из лохани и спрашивает прачку: «Ну-с, вам хватает мыла?» Но при следующем вотуме доверия тори едва избежали поражения: их традиционные сторонники предпочли воздержаться, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации.

Впрочем, мыло было наименьшей из проблем. Все обманутые надежды того времени вылились в череду спонтанных столкновений и беспорядков. С апреля до конца мая главной причиной народного недовольства служили цены на хлеб. Люди нападали на фермеров, владельцев лавок, мясников и пекарей, громили их хозяйства. Это был знак – в новом столетии извечная склонность населения к насилию никуда не делась. Недавняя война была практически забыта. Повсюду раздавался крик: «Хлеба или крови!» – что означало кровь сельских джентльменов, кровь аристократов и монополистов. Другими словами, английскую кровь. Цены на хлеб неумолимо росли.

Обеспокоенные сельские джентльмены и крупные фермеры переходили на сторону тори. Всего несколько месяцев назад партию тори объявили кликой своекорыстных управляющих, вознамерившихся пошатнуть национальные свободы. Теперь они были официальным лицом закона и порядка, над которыми нависла серьезная угроза. Виги хотели ослабить их как предателей нации – теперь же тори стали ее хранителями. (Тори вообще довольно часто удавалось обратить всеобщее недовольство в свою пользу.)

Уильям Коббет, которого правильнее было бы назвать не вигом или тори, а радикалом, обладал писательским талантом, позволяющим ярко выразить всеобщее недовольство. В каком-то смысле он хотел вернуться к старой Англии без бумажных денег и государственного долга, биржевых маклеров и фабричных городов. Он хранил верность идеалу спокойной и добропорядочной страны и традициям равноправного общества, не испорченного деньгами. В отличие от многих, он считал залогом прекращения беспорядков всеобщую избирательную реформу. Его широко поддерживали ткачи и другие ремесленники, пострадавшие от индустриализации. Имея только таких союзников, он не мог изменить общество.

Он высказывался резко и безапелляционно и не скупился на сарказм, однако проник в самую суть дела: «Кто будет делать вид, что страна способна просуществовать еще хотя бы год, не рискуя пережить великие и ужасные потрясения, если только в способах государствен-

³ Перевод К. Бальмонта.

ного управления не произойдет серьезная перемена?» Он опасался «той Твари, что кусает нещадно». Этой Тварью для него была вся та же построенная на подкупах и взятках, давно прогнившая система, которая высасывала из страны жизненные силы. Его аргументы, пусть не всегда переданные его же словами, разошлись дальше, чем он мог себе представить. Двумя годами ранее, в 1814 году, газету The Times начали печатать с помощью парового станка. На сцену вышел новый игрок. Несмотря на все попытки правительства ограничить или взять под контроль тираж радикальных газет, обуздать жажду новостей в период тревог и неопределенности было невозможно. В период с 1800 по 1830 год продажи газет и периодических изданий увеличились вдвое. В 1816 году Коббет начал издавать свой Weekly Political Register в виде брошюры ценой в два пенса. Брошюры активно распространялись среди трудящихся классов, хотя те, кто стоял чуть выше на социальной лестнице, презрительно называли их двухпенсовым мусором. 12 октября того же года Коббет призвал к созыву «реформированного парламента, избранного самим народом».

Коббет хорошо представлял, с какими врагами столкнулся, – обращаясь к своей матери, он описывал их как «злых расчетливых негодяев, которые доводят обнищавших людей до безумия и преступлений». Он видел повсюду одни и те же благородные семьи, те же лица, тех же кузенов. Он слышал, как эти голоса режут в парламенте: «Верно! Правильно!» Он был возмущен до глубины души. Найдутся ли еще на свете люди «столь униженные, низведенные почти до рабского положения, как те несчастные на “просвещенном” Севере, которых принуждают работать по четырнадцать часов в день при температуре в восемьдесят четыре градуса по Фаренгейту (ок. 29 °C) и наказывают даже за попытку выглянуть в окно фабрики?». Он видел бродяг на дорогах, видел людей, которые шли, сами не зная куда, в поисках работы, видел, как сельские дома разрушаются под действием ветра и дождя. И он спрашивал: что положит этому конец?

До появления рабочих домов пристанищем «негодных, беспутных и развратных», а также немощных и слабоумных служили приходские дома для бедных. О тяжелой жизни бедняков в ранней викторианской Англии говорили так часто, что это может показаться почти преувеличением. Коббет, обладавший тонким чутьем к смешанным метафорам, писал, что они «тощи, как селедки, едва волочат за собой ноги, бледны, как побелка, и раболепны, как попрошайки». Если треть населения страны на протяжении всего XIX века проживала в бедности, назвать этот век процветающим можно лишь ради красного словца или из общей склонности к криводушью. И все же его называли именно так. Из поколения в поколение жизнь бедняков почти не менялась. Когда в 1894 году, после столетия перемен, одну женщину спросили, как ей удавалось содержать семью из пятерых детей на 17 шиллингов в неделю, она сказала: «Боюсь, мне нечего вам ответить – я так много работала, что просто не успевала задумываться о том, как мы живем». Проблема трудоустройства бедняков, в свою очередь, была тесно связана с проблемой численности населения. И здесь нашим глазам является дух преподобного Томаса Роберта Мальтуса, утверждавшего, что переизбыток бедняков прискорбным образом увеличивает естественный разрыв между скоростью прироста населения и скоростью возобновления ресурсов. Безработные и нетрудоспособные считались врагами.

Коббету противостоял не менее красноречивый и влиятельный (хотя и не столь умный и дальновидный) Генри Хант, еще один заступник народного дела. В середине ноября 1816 года он произнес речь перед большим собранием в Спа-Филдс в Ислингтоне. Один из его сторонников при этом держал над головой надетый на пику фригийский колпак. Трудно было не угадать в этом намек на разгуливающий по стране дух Французской революции. Похожая демонстрация через две недели прошла еще более бурно: демонстранты пронесли в сторону Сити окровавленную буханку хлеба. Войска быстро отогнали протестующих от Королевской биржи: власти не собирались рассматривать это как невинную шутку. Несколько лет назад, в предыдущем столетии, призывы к реформе были едва слышны. Теперь о реформах говорили

даже носильщики портшезов и мальчишки-факельщики, освещающие им дорогу. Узкий кружок заговорщиков готовился к кровавой революции, но большинству было вполне достаточно время от времени собраться в таверне, выкурить трубку и выпить за разгром своих врагов. Эти люди были слишком апатичны и безынициативны, но охотно вливались в толпу на собраниях и присоединяли свой голос к общей какофонии.

Оппозиционная партия вигов пребывала в необычайном замешательстве и не имела никаких ясных предложений. В любом случае виги не стремились к тем реформам, за которые агитировали радикалы, и в глазах своих противников они оставались аристократами и сельскими джентльменами, то есть младшими представителями «той Твари». Так или иначе, возмущение было выгодно для всех партий. Министры-тори, в свою очередь, делали все возможное, чтобы с помощью своих шпионов и агентов спровоцировать измену и восстание. В конце 1816 года Коббет писал в *Weekly Political Register*: «...они вздыхают о заговоре. О, как они вздыхают! Они усердно трудятся, работают на износ, терзаются и томятся, покрываясь испариной: они жаждут заговора и тоскуют о нем!»

Вскоре произошло почти такое же удачное событие. В конце января 1817 года, когда принц-регент ехал в своей карете после открытия парламента, что-то – камень, пуля, или сорвавшийся кусок кирпичной кладки – разбило окно его экипажа. Никому не было дела до регента, живого или мертвого, но всем было выгодно притворяться, что это так. Сам регент наслаждался вниманием и хвастал своей сангвинической реакцией на эту выходку – увольте, он не из тех людей, кого могут запугать уличные хулиганы. Каслри явился в палату общин в гораздо более серьезном настроении. Он производил впечатление ледяной уверенности в себе.

Ряд поспешно созданных комитетов вскоре представил парламенту доказательства того, что разнообразные тайные общества и подпольные повстанческие ополчения намеревались штурмовать Банк Англии и Тауэр. Это привело к отмене закона *habeas corpus*, согласно которому человека нельзя было содержать в тюрьме без предъявления обвинения. Это был беспрецедентный удар по британским свободам. Также был принят ряд репрессивных законов, известных как Акты о принуждении, или Акты о затыкании рта, – они запрещали любые собрания как потенциально подстрекающие к мятежу. Под запрет попали также лекции по медицине и хирургии, а Кембриджский союз закрылся. Внутренний ажиотаж помог скрыть плачевное состояние экономики, которая была близка к краху. Активист партии вигов Джордж Тирни сообщал коллегам, что министры «обезумели» и что «все сторонники правительства из нижней палаты в отчаянии». Государственное банкротство могло оказаться ничем не лучше революции.

Ажиотаж, вызванный преследованием радикалов в феврале 1817 года, спровоцировал новую череду внутренних возмущений. Общество Норвичского союза заявило: «Все, чего мы хотим, – исполнения конституции нашей страны в ее изначальной чистоте, справедливого и полного представления народа в ежегодном парламенте и избавления палаты общин от засилья должностных лиц и получателей пенсий, которые жиреют, высасывая жизненные силы из полуголодных угнетенных людей». В военных конфликтах такая расстановка сил называется «с пехотой на кавалерию». До спасительного пожара 1834 года парламент был мрачным, плохо освещенным и плохо проветриваемым местом. Далеко не все депутаты считали обязательным мыть и стирку одежды. Участники заседаний клали ноги на спинки передних скамеек или растягивались на полу, приходили и уходили когда вздумается, выкрикивали с места, смеялись, обменивались шутками, зевали, несли чушь, перебивали говорящего ради забавы – словом, вели себя тем более вопиюще, чем больше вокруг было разговоров о социальной и политической революции.

Многочисленные петиции Хэмпденских клубов к принцу-регенту с просьбой об улучшении тяжелых экономических условий оставались без ответа, поэтому ткачи и прядильщики Манчестера отправились в грандиозное паломничество в Лондон, чтобы лично подать ему

свою петицию. В числе прочего они также требовали всеобщего избирательного права и ежегодного созыва парламента.

Все они несли с собой одеяла и накидки для тепла, поэтому их называли бланкетирами (от *blanket* – «одеяло»). У них не было ни единого шанса. Их развернули обратно прежде, чем они достигли Дербишира, и после некоторого сопротивления заставили разойтись. Так или иначе, они не достигли цели. Коббет уехал в Соединенные Штаты, чтобы избежать судебного преследования. Неудачное столкновение с йоменами спровоцировало еще один мятежный «заговор» в Ардвике, районе Манчестера. Повсюду слышались разговоры о всеобщем восстании, всеобщем бунте. Виги и тори доводили себя до истерики. Заговоры и бунты мерещились под каждым кустом и за каждой живой изгородью, но судебные слушания по ним прекращались, когда становилось ясно, что единственные данные по делу исходят от доносчиков. Восстание могло, вполне могло бы произойти. В других странах так и происходило. Английская же беднота и большая часть среднего класса оказались на удивление спокойными. Они так и не восстали. Как минимум один раз лорд Каслри был узан лондонской толпой. «Кто это явился сюда в напудренном парике?» – закричали люди. Ему пришлось спасаться бегством, но, поскольку дело происходило в Лондоне, а не в Париже, его все же не повесили на фонарном столбе на Пикадилли.

Возмущение, вызванное судебными преследованиями радикалов, быстро утихло, когда стало ясно, что присяжные не собираются осуждать подозреваемых, которых скорее следовало бы назвать просто недовольными. Руководителей собраний в Спа-Филдс освободили, не предъявив обвинений. У радикалов сложилось впечатление, что им не удалось найти нужные слова, чтобы поднять страну, и что-то важное осталось невысказанным. Власти больше не предпринимали никаких ответных действий, и интерес к радикальной пропаганде уменьшился.

События следующих нескольких месяцев имели тот же привкус незавершенности. Хороший урожай 1817 года и улучшение торговых перспектив помогли развеять мрачные настроения. Лорд Эксмаут отметил, что «паника среди фермеров стихает и в первую очередь отовсюду исчезает до этих пор самый ходкий товар – недовольство». Вместе с ростом сельского хозяйства росла торговля. Пришло время восстановить *habeas corpus* и устранить нанесенный свободам ущерб. Страна пережила потрясение, но снова обрела устойчивость. В 1818 году правительство выделило грант в размере одного миллиона фунтов стерлингов на строительство сотни новых церквей, что, вероятно, можно считать выражением благодарности: правительство день ото дня становилось все более религиозным.

Возможно, новообретенная уверенность и ощущение твердой почвы под ногами также сыграли свою роль в удлинении усов. Во времена Наполеоновских войн английские военные были чисто выбриты, но теперь волосы постепенно начали отрастать. Примерно в 1820 году появились усы, затем их сменили большие бакенбарды, к 1860-м годам повсеместно распространившиеся среди легкой кавалерии и тяжелых драгун. Многие мужчины отпускали длинные волосы. мода на растительность на лице оказалась довольно устойчивой. Военные, вернувшиеся из Крымской кампании, носили бороды, – не прошло и десяти лет, как им стали подражать гражданские.

Переубедили ли Господа сто церквей, построенных в Его честь, – вопрос открытый. Летом 1818 года, когда торговля наладилась, тори решили пойти в деревню, то есть обратиться к свободным землевладельцам, чьи земли приносили не менее 40 шиллингов в год. Поскольку условия участия в выборах открывали возможность для махинаций, а общего реестра избирателей не существовало, процесс неизменно осложнялся претензиями и контрпретензиями. Именно поэтому всеобщие выборы продолжались в среднем от двух до трех недель. Они сопровождались ярмарками, пьяными кутежами, сведением старых счетов, кулачными боями, бесконечными парадами, маршами и заседаниями в пивных. Сторонники системы считали *concordia discors*, рождение гармонии из конфликта, плодом древней британской конституции, которой

на самом деле никогда не существовало. Один политик-тори, сэр Роберт Инглиш, заявил, что она росла и расцветала, словно дерево, и добавил: «Насколько мне известно, нет никаких доказательств в пользу того, что наша палата когда-либо формировалась на основе какого-либо принципа представительства населения или вообще какого-либо твердого принципа представительства... Подобно творению природы, она приспособливалась к нашему росту».

В сложившихся обстоятельствах виги получили в парламенте 33 места, но это не давало им никаких осязаемых преимуществ в той разнородной и разобщенной палате общин, которая приступила к работе в начале 1819 года. Правительство, по словам одного из депутатов, было «так основательно обездвижено, что не осмеливалось действовать». Принца-регента охватила паранойя, он почти не выходил на улицу (в любом случае при его громоздкой фигуре ему было бы трудно сыграть в происходящем изящную роль). Сами виги избегали общественного внимания, опасаясь, что в один далеко не прекрасный день их попросят войти в администрацию. На первых страницах книги Джордж Элиот «Феликс Холт, радикал» (Felix Holt: The Radical; 1866), действие которой происходит в 1832 году, изображена характерная сцена между матерью и сыном:

– Но я не буду кандидатом от тори.

Миссис Трансом ощутила нечто вроде удара электрическим током.

– Что же тогда? – довольно резко спросила она. – Не собираешься ли ты назвать себя вигом?

– Боже упаси! Я радикал!

Миссис Трансом затрепетала, она упала в кресло.

На этом заседании парламента было сказано много прекрасных слов о состоянии финансов страны, выдвинуты предложения о сокращении расходов и даже о повышении налогов. Почти всем было ясно, что экономическая реформа неизбежна. Одному специальному комитету поручили рассмотреть проблемы денежного оборота, другому – проблемы государственных финансов. Администрация наконец собралась с духом и начала бороться с явлением, которое Каслри как-то назвал «поспешным и безграмотным налогообложением».

Одну правительственную меру стоит упомянуть отдельно, хотя бы потому, что она стала предвестницей более масштабных реформ. В 1819 году, после четырех лет агитации, был принят Закон о фабриках, или, точнее, Закон о хлопкопрядильных фабриках. Он запретил трудиться на хлопкопрядильных фабриках детям младше 9 лет и в целом ограничил детский труд 12 часами в день. На фоне всеобщих тягот это казалось почти насмешкой, и по этому закону было вынесено только два обвинительных приговора, но в то время он вызвал бурный протест, поскольку ставил хлопковое производство в «особое положение». Гуманистические чувства, разбуженные варварскими картинами рабства в чужих странах, пока еще не обратились к трудоспособному населению своей страны. И все же Закон о фабриках означал, что администрация впервые решительно воспротивилась политике невмешательства в экономические процессы. Он также означал, что у правительства появилась возможность и власть пересилить желания родителей. Чтобы довести это начинание до конца, потребовалось больше ста лет.

Одного человека можно по праву назвать зачинателем (хотя и не единственным зачинателем) назревших изменений. Роберт Оуэн был сыном лавочника и уже в молодости стал управляющим ткацкой фабрикой в Манчестере. Открыв собственную фабрику в Нью-Ланарке в Шотландии, он заботился не только о прибылях, но и о своих работниках. Он считал, что характер человека формируют обстоятельства, и задался целью организовать обучение и досуг находившихся под его опекой детей. Он открыл первое в Великобритании детское дошкольное учреждение и организовал фонд поддержки немощных и престарелых. Его влияние и личный пример непосредственно отразились на дальнейшем фабричном законодательстве и принесли ему звание первого великого реформатора в промышленности.

Весной и в начале лета 1819 года в Глазго, Манчестере, Лидсе и других местах прошли демонстрации и массовые митинги за расширение избирательного права. Парламент, отметив расстояние, отделяющее недовольных от Вестминстера, решил их игнорировать. Призывы к избирательной реформе звучали и раньше, но никогда ни к чему не приводили. Зачем было обращать на них внимание сейчас? Но обстоятельства изменились. Появились новости, что работники ткацких мануфактур собирают вооруженные отряды. Король издал прокламацию, осуждающую воинственный настрой народа. 16 августа было объявлено о большом публичном собрании в Манчестере. Тори снова ощутили страх перед революцией. В назначенный день Генри Хант, теперь известный как Хант Оратор, прошел через толпу собравшихся и поднялся на платформу. Стоило ему заговорить, как к нему направился полицейский отряд. Толпа свистала и осыпала полицейских насмешками, но они обнажили оружие. В общем переполохе к ним присоединились гусары⁴, в результате одиннадцать человек погибло и несколько сотен демонстрантов было ранено. Все это произошло на площади Святого Петра, а кровавое событие стало известно как бойня при Петерлоо.

Это был переломный момент. Размер толпы и характер событий потрясли многих, считавших, что в Англии нет и не может быть места неограниченной монархии. Теперь «та Тварь» отвесила поклон, сняла шляпу и показала свое лицо. Когда Хант Оратор прибыл в Лондон, где его должны были судить, его приветствовали около 300 000 человек. Возможно, эта цифра, как многие подобные оценки, не вполне верна, но у нас есть свидетельство Джона Китса, который сообщал своему брату Джорджу, что «все расстояние от “Ангела” в Ислингтоне до “Короны и якоря” было заполнено множеством людей». «Корона и якорь» стоял недалеко от современного вокзала Юстон. Раскол нации имел также менее очевидные последствия. В октябре 1819 года один источник отмечал: «Наиболее тревожный признак нашего времени – ежедневно и вполне явно усиливающееся отделение высшего и среднего классов общества от низшего класса».

Необходимо было что-то делать, даже если никто точно не знал, что именно. Главной причиной для недовольства, как обычно, служили налоги. Как писал Сидней Смит в *Edinburgh Review* за январь 1820 года, «налогами обложен всякий предмет, который кладут в рот, надевают на спину или ставят под ногу».

Правительство немедленно ответило на события выпуском так называемых Шести актов. Они никак не помогли смягчить сложившуюся ситуацию, однако запрещали публичные собрания числом более 50 человек, а также несанкционированную военную подготовку и подтверждали право представителей власти входить в частные дома без ордера. В отличие от предыдущих актов, они не приостанавливали действие закона *habeas corpus*, но положили начало одному из самых обширных расследований радикальной деятельности в истории XIX века. В конечном счете Шесть актов не принесли почти никакой пользы, но зато стали предметом повсеместных насмешек и осуждения. Коббет заявлял: «Когда я родился, никаких Шести актов еще не было». Когда принц-регент вернулся с каникул из Коуза, у дверей дома его обшителькала огромная толпа, и люди едва не опрокинули портшез его любовницы леди Хертфорд, но ее спасли Бегуны с Боу-стрит⁵.

Министр внутренних дел виконт Сидмут был уверен, что заговоры поджидают за каждым углом. Многие представители власти искренне боялись за свою жизнь в случае всеобщего восстания, и в 1820 году их опасения отчасти оправдал небольшой эпизод, который стал известен как Заговор на Като-стрит. Като-стрит была узкой оживленной улицей близ Паддингтона. Горстка заговорщиков, тайно встречавшихся на чердаке невзрачного здания, руководствовалась больше восторженным порывом, чем здравым смыслом: они планировали захватить Лондон и убить как можно больше членов кабинета министров. Сидмут знал об этом заговоре

⁴ А именно 15-й гусарский полк, атаковавший французов при Ватерлоо. – *Прим. ред.*

⁵ Первые профессиональные полицейские.

и просто позволял ему существовать до тех пор, пока не появилась возможность сделать с его помощью грозное предупреждение всем остальным политическим авантюристам. Главных заговорщиков повесили и обезглавили. Это был последний на ближайшие несколько лет акт репрессий, в основном потому, что для подобных актов больше не было причин. Запугиваниями, уговорами и подкупом страну привели к спокойствию.

Иногда возникает впечатление, что правительство состояло в тайном сговоре с собственными врагами, но, пожалуй, такая теория заговора переигрывает любые реальные заговоры, возникавшие после войны с Наполеоном. Возможно, происходящее имело гораздо более приземленное объяснение – в чувстве волнения и повышенного возбуждения, которое безраздельно царило в общественной жизни с тех пор, как все себя помнили, а также свою роль, безусловно, играл алкоголь. Известно, что Сидмут, перед тем как явиться в парламент, выпивал за обедом двадцать бокалов вина, и это не считалось чем-то из ряда вон выходящим. Он, как и многие другие министры, страдал подагрой; в наши дни так называют воспалительное заболевание артерий стопы, но раньше это заболевание ассоциировалось также с упадком духа и чрезмерным употреблением алкоголя. Рискнем предположить, что пьянство Сидмута было средней тяжести по меркам Вестминстера, и бывали случаи, когда заседание парламента больше напоминало потасовку в пивной.

Фарс и трагедия превратились в пантомиму, когда принц-регент взошел на трон под именем Георга IV в конце января 1820 года. Его отец, безумный, слепой и бородатый, как библейский пророк, пребывал где-то между миром живых и мертвых. Он разговаривал с умершими так, словно они были еще живы, и с живыми так, будто их уже похоронили. Он умер 29 января 1820 года, и его смерть не принесла ничего нового, кроме официальной коронации его сына. В прошлом году на свет появился новый отпрыск этой странной семьи, принцесса Александрина Виктория, больше известная под своим вторым именем. Она была дочерью принца Эдуарда, четвертого сына Георга III, и принцессы Виктории Саксен-Кобург-Заальфельдской. В семье ее матери все были немцами, и она гордилась этим фактом. Она вышла замуж за немца, и при ее дворе в Виндзоре и в других местах часто говорили на немецком.

К этому времени Георг IV окончательно обленился, располнел и пустился во все тяжкие. И он отнюдь не расположил к себе подданных, когда отправил поздравление городским властям Манчестера после событий Петерлоо. Люди говорили, что он мог бы, по крайней мере, дождаться результатов расследования. Впрочем, не он был главным действующим лицом в упомянутом фарсе. Эта роль досталась его жене, королеве Каролине, которая после возвышения супруга решительно вознамерилась занять свое законное место королевы Великобритании. Трудно было представить особу, меньше похожую на королеву. Она была такой же толстой и распутной, как ее муж, меняла любовников как перчатки и теперь, окруженная облаком дурных запахов, порожденных отсутствием гигиенических привычек, вернулась в свою страну.

Георг и Каролина поженились при неудачном стечении обстоятельств четверть века назад в часовне Святого Иакова. Во время церемонии принц с трудом держался на ногах: потрясение, вызванное видом и запахом невесты, оказалось для него слишком сильным. По словам Мельбурна, «принц выглядел как человек, движимый глубоким отчаянием. Он напоминал Макхита, идущего на казнь, и он был совершенно пьян». Время не изгладило первого впечатления. Принцесса Каролина уехала, оставив мужа в Англии, чем вызвала в обществе большой скандал. В Европе она предавалась увеселениям и тратила деньги, а путешествуя по Ближнему Востоку, однажды въехала в Иерусалим на осле. В другой раз она явилась на бал с половиной тыквы на голове. После ее возвращения в Англию в качестве законной королевы новый король делал все возможное, чтобы избавиться от нее. Он обвинил ее в супружеской неверности и потребовал для нее суда, что послужило поводом для множества саркастических замечаний. Она пережила это испытание. Генри Броухам, допрашивая свидетелей, чтобы найти улики против нее, снова и снова слышал ответ: *Non mi recordo* – «Я не помню». Все повторяли эту расхожую

фразу, словно строчку из модной итальянской песни. Реформы на время оказались забыты, единственной темой для разговоров стал суд. «Слышно что-нибудь новое о королеве?» – спрашивали все.

Удивительнее всего в этом злополучном деле была та популярность, которой Каролина пользовалась у английского населения. Куда бы она ни отправилась, ее приветствовали криками и аплодисментами. На какое-то время она стала королевой всех сердец. Правительство унижало ее, король дурно с ней обходился... Разве не то же самое происходило со всей страной? Знала она об этом или нет, но для радикалов она была символической фигурой, олицетворявшей все тяготы и обиды несчастных подданных короля. Женщины Лондона совместно с радикалами города организовывали массовые собрания и шествия в ее поддержку. Кажется, страданий одной женщины может оказаться достаточно, чтобы свергнуть существующую власть. Сара Литтелтон, придворная дама и жена члена парламента, писала: «Король настолько непопулярен, его характер вызывает такое презрение, а все его поступки столь безрассудны и беспринципны, что вряд ли кто-нибудь может желать ему удачи, разве только из страха перед революцией».

Прошло несколько недель, и вся жалость и сочувствие к Каролине испарились. В моду вошел стишок:

- Мадам, мы смеем вас просить
Уйти и больше не грешить.
- Ах, это слишком тяжкий труд!
- И все же вам не место тут⁶.

Приняв от администрации ежегодную ренту размером 50 000 фунтов стерлингов, она потеряла симпатии публики. Когда летом 1821 года она появилась у дверей Вестминстерского аббатства и безуспешно пыталась открыть то одну, то другую дверь, чтобы попасть на коронацию своего отлученного от брачного ложа супруга, ей кричали «Позор!» и «Вон!». Вскоре о ней забыли, и через несколько недель она умерла, никем не оплаканная. В какой-то мере причиной ее опалы стали непостоянство и забывчивость толпы, с нетерпением ждавшей очередного скандала или сенсации. Проницательные политики приняли к сведению этот урок и сделали вывод, что любая популярность или непопулярность не длится долго.

Некоторые министры тоже почувствовали витающие в воздухе изменения. Роберт Пиль, младший министр, которого ждало блестящее будущее, в марте 1820 года в письме своему другу спрашивал, не думает ли тот, что «настроения в Англии более виговские – если выражаться одиозным, но понятным языком, – чем политика правительства» и считается ли сейчас необходимым изменить способ правления. Он попал ближе к цели, чем мог предположить. Через два года его перевели в торийский кабинет министров лорда Ливерпула, где он начал работать над смягчением Уголовного кодекса. Это стало одной из причин, почему 1820-е годы на фоне волнений предыдущих лет и борьбы за реформы 1830-х годов прошли относительно спокойно.

В мае 1820 года лорд Ливерпул представил (или, скорее, упомянул) перед делегацией торговцев из Сити одну предложенную вигами меру. Преимущества свободной торговли манили Ливерпула. Он знал: некоторые люди считают, будто Британия процветает при протекционизме, но он был уверен, что страна достигает успехов не благодаря, а вопреки этому. В свойственной ему медленной, не прямой и бесконечно осторожной манере он не выдвигал собственных предложений. Вместо этого он создал ряд парламентских комитетов для изучения множества сложных вопросов, решение которых вело, по сути, к изменению государствен-

⁶ Most gracious queen, we thee implore / To go away and sin no more, / But if that effort be too great, / To go away at any rate.

ной политики. В результате появилась возможность ввозить товары в Англию на иностранных кораблях и ввозить иностранные товары из любого свободного порта, были отменены три сотни устаревших статутов о торговом мореплавании. В Annual Register охарактеризовали эти меры как «несомненно обширные» и назвали их «первым случаем, когда государственные деятели открыто признали, что действуют в соответствии с буквальными принципами политической экономии». Итак, процесс начался.

В 1825 году в Оксфорде открылась кафедра политической экономии. Воспоминания и письма того времени полны упоминаний об этом. Виконт Сидмут писал весной 1826 года: «Везде и всюду, на обедах и званых вечерах, в церкви и в театре только и слышно разговоров, что о политической экономии и бедствиях нашего времени». Редко случалось, чтобы академическая дисциплина привлекала столько внимания и рождала столько оживленных дискуссий о труде и прибыли, ценных бумагах и драгоценных металлах. Любопытная связь прослеживается в этот период между радикальной политикой и театральным искусством. Весь смысл и эмоциональный накал георгианского театра заключался в преднамеренном смешении реального и воображаемого – именно это привлекало «ловцов безграничных мечтаний», в том числе тех радикалов XIX века, которые стремились изменить условия своего времени со свойственным им прямолинейным оптимизмом и верой в прогресс. В «низких» театрах сюжет нередко вращался вокруг внезапных перемен и нестабильности жизни – бедность, болезни и безработица составляли неотъемлемую часть драмы.

На другом берегу моря, как обычно, бурлил котел бесконечных неприятностей. В 1820 году в Европе вспыхнули четыре революции, огонь охватил Испанию, Португалию, Неаполь и Пьемонт. Некоторые страны Четверного союза, изначально обещавшие поддерживать монархию, были готовы вмешаться. Каслри, британский министр иностранных дел, был против. Он не хотел иметь к этому ни малейшего отношения, тем более что доктрина невмешательства с некоторых пор вышла на уровень государственной политики. Как он сказал одному коллеге, ему смертельно надоели эти хлопоты и переживания и, если удастся от них избавиться, он никогда не вернется к ним снова. Англия не будет участвовать в континентальных раздорах. Такая позиция могла привести к потере влияния на мировой арене, но это было все же лучше, чем вмешиваться в дела, предвидеть конец которых не в человеческих силах.

В послании к министру иностранных дел Австрии принцу Меттерниху Каслри сообщал: «Нас следует принимать, к лучшему или к худшему, такими, какие мы есть, и, если континентальные державы не могут идти с нами в ногу, им не следует ожидать, что мы будем подстраиваться под их шаг. Подобное нам чуждо». Он осуждал лихачество и рисовку. В важном дипломатическом документе кабинета министров от 5 мая 1820 года говорилось: «Эта страна не может и не будет действовать, опираясь на абстрактные и умозрительные принципы предосторожности». В начале лета следующего года он заявил в палате общин: «Возводя себя на трибуну, чтобы судить внутренние дела других, некоторые государства претендуют на власть, присвоение которой прямо противоречит государственным законам и принципам здравого смысла». Он сполна обладал тем прагматизмом и практичностью, которые так ценят англичане. Меньше всего Министерству иностранных дел был нужен оторванный от жизни теоретик.

Торговля постепенно набирала обороты, и при открытии парламента в 1820 году король мог, не покрывив душой, сказать, что «затруднения во многих промышленных районах... значительно сократились». Даже французский поверенный в делах отметил «спокойствие, царящее в Лондоне и во всей Англии». Король мог двигаться вперед с легким сердцем – хотя, кроме сердца, в нем больше не было ничего легкого. Роскошное коронационное одеяние тяжело облекало его грузную фигуру, – во время церемонии он едва не потерял сознание и немного оживился, только когда ему подали нюхательную соль. Тем не менее он держался неплохо. Возможно, он был неотесан и иногда смешон, однако хорошо понимал, в какой момент на него устремлены все взгляды. Через месяц после церемонии он отправился в Ирландию и, по сло-

вам наблюдателя, прибыл на место «мертвецки пьяным». Именно тогда его жена скончалась от пьянства и разочарований. Каслри сообщал, что Георг «воспринял эту прекрасную новость самым благопристойным образом». «Это, – сказал он по прибытии в Дублин, – один из самых счастливых дней в моей жизни».

3

Работа вечности

В те дни почти не оставалось предметов и явлений, так или иначе не затронутых религиозными разногласиями. Религия была воздухом, которым дышали уважаемые люди. Сама по себе религия была «ни холодна, ни горяча». Где-то религиозная жизнь бурлила и кипела, где-то едва теплилась. Существовала Низкая церковь евангелистов и диссентеров и Высокая церковь, больше тяготеющая к католическим ритуалам. Кроме того, была Широкая церковь, отличавшаяся либеральными взглядами на теологию и стремившаяся примирить высокое и низкое течения в масштабах страны. От этих крупных религиозных течений ответвлялись разнообразные секты и группы, верившие в Промысел Божий в отношении одного человека или всего человечества, в неизбежное искупление или адские муки. Кальвинисты, методисты, квакеры, арминиане, пресвитериане, конгрегационалисты и баптисты – все они входили в неофициальный евангелический союз, искавший точки соприкосновения с англиканами. Все они открыто стремились к благочестивой и праведной жизни. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Восемь из девяти членов гребной команды Кембриджа, выиграв лодочную гонку Оксфорд – Кембридж на Темзе, отправлялись затем проповедовать в Ист-Энд. Среди англиканцев «установленной церкви» подобного рвения не наблюдалось. Они почитали все привычное и уважаемое и смотрели на бедняка едва ли не с большим ужасом, чем на злодея. В романе «Путь всякой плоти» (The Way of All Flesh; 1903), действие которого происходит в 1834 году, Сэмюэл Батлер так писал о сельском церковном собрании: «Они симпатизировали или, по меньшей мере, терпимо относились ко всему знакомому и ненавидели все незнакомое. Они в равной степени ужаснулись бы, услышав, как подвергают сомнению принципы христианской веры, и увидев, как их воплощают в жизнь». Это были порядочные, степенные, не склонные к рассуждениям люди.

В отчете составителей переписи от 1851 года упоминается, что «работающие люди не могут посетить место совершения богослужений, не получив в том или ином виде настойчивое напоминание о собственном низком положении. Отгороженных скамей для избранных и расположения прочих свободных мест уже достаточно, чтобы отвлечь их от посещения церкви». Что касается малоимущих и живущих на грани нищеты, никто не ожидал, что они будут ходить в церковь. Если бы они попытались туда зайти, вероятно, их просто выгнали бы. Один торговец зеленью сообщил социальному исследователю Генри Мэйхью, что «зеленщики почему-то путают религиозность с уважением и не знают толком, в чем состоит разница. Для них это загадка».

По-настоящему интересным, по мнению наблюдателей, было то, что многие представители «уважаемых» классов вообще не имели веры. Броня скептицизма защищала их от доводов священников и проповедников. Многие из них не знали, во что верить – и верить ли вообще во что-нибудь. Французский историк Ипполит Тэн отмечал, что обычные английские мужчины и женщины верят в Бога, Святую Троицу и ад, «однако без особенного пыла». Это важное наблюдение. Англия не была светским государством – она была безразличным к религии государством. Проповедники, грозившие адскими муками, в целом воспринимались публикой как новое и любопытное зрелище, хотя у них было довольно много активных сторонников. Экстазы и обмороки, столь популярные в XVIII веке, перестали быть частью английского стиля. Единственным источником общественного воодушевления теперь были церковные гимны. Мертвое затишье английского воскресенья, о котором с осуждением писал, в частности, Диккенс, явно свидетельствовало о том, что церковь не способна вызвать у людей искренние сильные чувства и духовный подъем. Не было также народной веры, еще распро-

страненной, например, в России или Америке. Устоявшиеся догматы вызывали у людей сдержанное раздражение – особенно доставалось в этом смысле концепции загробных мук. Постепенно вера становилась менее догматичной и менее конкретной, а некоторые доктрины молча отбрасывались. Однако по-прежнему сохранялись региональные различия, сложившиеся еще в XVII веке, – на юго-востоке страны преобладало англиканство, а на юго-западе и северо-западе примитивный методизм.

Сам лорд Ливерпул был по характеру «методистом» и в 1812 году сыграл важную роль в принятии закона о расширении терпимости по отношению к диссентерам. Уильям Коббет в своей книге «Поездки по сельской местности» (*Rural Rides*; 1830) описывал диссентеров как «шайку крикливых ханжей» и «бродячих фанатиков», но к этому течению принадлежало немало английских верующих, и все они, от квакеров до Коннексии графини Хантингдон, держались отдельно от англиканской церкви. Однако им было запрещено посещать университеты в Оксфорде и Кембридже, и они были обязаны заключать браки в церквях и хоронить своих умерших на кладбищах под руководством англиканских священников.

Второй по величине религиозной группой в стране был тот неофициальный альянс евангелистов и утилитаристов, чья деятельность во многом определила характер эпохи. И те и другие стремились к исправлению нравов, но одни шли к просветлению дорогой разума, а вторые – дорогой духовного возрождения. Их перекликающиеся светские и религиозные принципы – учиться и трудиться, проповедовать и осуждать праздность и роскошь – со временем заметно изменили английский характер. Евангелисты придерживались крайне строгого толкования Священного Писания, и они были хорошими помощниками в *felicific calculus* – исчислении счастья, с помощью которого утилитаристы хотели достичь наибольшего блага для наибольшего количества людей. И им в равной мере были свойственны как прагматизм, так и догматизм, и они послужили моральными проводниками многих социальных и религиозных реформ. Говоря словами одного из них, это была «работа вечности», бесконечный труд. При этом они активно стремились улучшить то время, в котором жили сами. Поток брошюр и периодических изданий, посвященных самосовершенствованию и нравственной практике, предназначался для всех, умеющих читать.

Провидение, прогресс и цивилизация считались равноценными составляющими Божьего промысла. Евангелисты призывали каждого человека к духовному возрождению, утилитаристы продвигали доктрину самопомощи. Их первым успехом стало введение в тюрьмах «шаговой мельницы», а в 1830-х годах их взгляды уже транслировались на уровне государственной публичной политики. Не все их начинания касались таких мрачных предметов. Евангелисты энергично выступали против работорговли, а утилитаристы – против Хлебных законов и других факторов, препятствующих свободной торговле. Они требовали реформ, и их объединенные усилия помогли постепенно изменить политику 1820-х годов. Они притягивали к себе людей, стоящих на пороге индустриальных перемен. Джордж Элиот писала: «Настоящая драма евангелической церкви – а в ней найдется множество превосходных драм для всякого, кто способен распознать и изложить их, – кроется в среднем и низшем классах». Именно эти классы полностью изменили Британию.

Лондонец Чарльз Бэббидж, родившийся в Уолворте в 1791 году, был одним из величайших изобретателей и аналитиков XIX века. Он разработал и сконструировал так называемую разностную машину и аналитическую машину, которые могут считаться прямыми предшественницами цифрового компьютера. Это были сложные устройства с перфокартами и дисками набора, действие которых мало кто понимал тогда и мало кто понимает сейчас. Любопытно, что герцог Веллингтон, несмотря на свою репутацию консерватора и реакционера, в глубине души, очевидно, осознавал потенциал машин.

В семнадцать лет Бэббидж страстно увлекся алгеброй. Он пытался понять, каким образом числа обретают жизнь, и проникнуть в суть математического процесса, позволяющего

создавать новые числа. Он вспоминал: «Впервые, насколько я помню, идея о вычислительных таблицах пришла ко мне в 1820 или в 1821 году... Я говорил с другом о том, как хорошо было бы задействовать в вычислениях силу пара». В каком-то смысле это была метафора, поскольку, согласно другому источнику, он сказал: «Я думаю, все эти таблицы [логарифмы] можно рассчитать с помощью механизмов». Сила пара, двигатели и машины составляли единое облако знаний. Бэббидж набросал несколько эскизов вычислительной машины, но затем слег с нервным расстройством. В своем воображении он нарисовал устройство для создания математических таблиц, предвосхитившее новый мир механизированных инструментов и инженерных технологий. Задумка Бэббиджа настолько опережала все остальные вычислительные инструменты того времени, что в руках его современников выглядела как телеприемник в руках обезьян.

Первая машина Бэббиджа называлась разностной машиной, потому что рассчитывала числовые таблицы методом конечных разностей. Вскоре изобретатель начал работу над новым устройством – аналитической машиной, которая, по сути, представляла собой автоматический калькулятор. Она работала по принципу хлопкопрядильной фабрики: материалы, то есть числа, хранились на складе отдельно от механизмов, но в нужный момент их извлекали и обрабатывали на станке. Каждая часть устройства предназначалась для совершения отдельного действия, такого как сложение и умножение, но при этом оставалась связанной со всеми остальными частями. Бэббидж писал, что машина «кусают сама себя за хвост» и что «вся арифметика теперь подвластна механизму». Вероятно, современникам эти рассуждения казались совершенно потусторонними, и до середины XX века они в общем и целом оставались без внимания. Машины Бэббиджа называют одним из величайших интеллектуальных достижений в истории человечества, но в то время в Англии мало кто проявлял к ним хотя бы каплю интереса.

Вычислительная машина Бэббиджа пришлась не ко времени. Современники оказались категорически не готовы понять и по достоинству оценить ее устройство. Это была самая хитроумная и сложная машина, когда-либо построенная человеком, и она появилась задолго до того исторического периода, когда ее смогли бы должным образом освоить. Трудно сказать, сколько еще точно так же опередивших свое время гениальных изобретений кануло в пучину времени. Копия аналитической машины Бэббиджа выставлена в Музее науки в Лондоне – она и сейчас напоминает какого-то странного идола, извлеченного из неведомой пещеры и, как ни парадоксально, по-прежнему выглядит чужой во времени. Сохранилось и кое-что еще. Половина мозга Чарльза Бэббиджа хранится в музее Хантера, а другая половина – в Музее науки.

Тот факт, что имя Бэббиджа до сих пор не так хорошо известно публике, как имена поэтов и романистов того времени, свидетельствует об общем равнодушии викторианской интеллигенции к прикладной науке. Одним из немногих, кому все же удалось войти в историю исключительно благодаря масштабу своего гения, был Джереми Бентам. Воспользовавшись одним из его неологизмов, мы можем назвать его «пан-прародителем» утилитаристов и *felicific calculus*. Хотя он начал свою работу и свои исследования в XVIII веке, более уместно рассматривать его в контексте следующего столетия. Это был еще один великий лондонский провидец (он родился в Спиталфилдсе в 1748 году) и практический гений, которого можно поставить в один ряд с Бэббиджем. Бентам не был широко известен при жизни, но удостоился обильных славословий после смерти. Его история, как и история Бэббиджа, подтверждает справедливость избитой истины: нет пророка в своем отечестве.

В своей околореформенной деятельности Бентам опирался на простую веру в «наибольшее счастье для наибольшего количества людей». Эта радикальная максима вела его тернистыми путями правовой реформы, тюремной реформы и реформы Закона о бедных. Будь он христианином, он мог бы сделать своим девизом евангельское изречение: «Кривые пути распрямятся, а неровные сделаются гладкими» (Лк. 3:5). Он участвовал в подготовке Избирательной реформы 1832 года, впервые наделившей избирательным правом всех взрослых мужчин,

и утверждал, что «всякий закон есть зло, ибо всякий закон есть нарушение свободы». Главной задачей того времени стал поиск рациональных решений и рациональных способов их воплощения в жизнь. В нем звучала музыка механизмов, конкуренции и прогресса. Никто больше не спрашивал: «Быть или не быть?» Вопрос стоял иначе: как это работает?

Бентам также приложил руку к основанию институтов мастеровых, ставших одним из признанных триумфов Викторианской эпохи. В эти заведения стекались не только ремесленники, но и клерки, подмастерья и владельцы лавок, привлеченные отблесками до этих пор недоступного им мира знаний. По сути, целеустремленным представителям средних классов институты дали больше возможностей, чем работникам физического труда, для которых задумывались изначально. В самых увлекательных биографиях и художественных произведениях того времени нередко встречается тема нелегкого, иногда даже мучительного самообразования вопреки всем тяготам и препятствиям. Кто-то вставал до рассвета, чтобы почитать учебник при свече, кто-то читал при свете огня в таверне, кто-то пешком одолевал 13 миль (ок. 21 км) до ближайшей книжной лавки, а кто-то даже платил пенни, чтобы прочитать газету в местной пивной.

Таким образом, как мы еще раз убедимся на следующих страницах, XIX век вряд ли можно назвать религиозным временем. Растущее уважение к науке как к способу познания мира ничем не помогало тем, кто проповедовал религиозные истины, а растущее безразличие к самой религии стало одним из первых признаков надвигающейся секуляризации общества. Христианская вера постепенно становилась все более фрагментированной и расплывчатой. Драма эволюции вытеснила драму искупления, и стало ясно, что научная модель дает для понимания практической стороны жизни намного больше, чем любая брошюра Общества распространения христианского знания.

Книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859) – явление столь же типично викторианское, как Всемирная выставка или Альберт-холл. Главной движущей силой в ней выступает непреодолимый инстинкт борьбы и конкуренции, под действием которого в развернувшейся жизненной битве «северные виды смогли возобладать над менее могущественными южными видами». В ней ничего не говорится об искуплении, покаянии или благодати. Она рисует по-настоящему мрачный мир, где господствуют вынужденная необходимость в труде и стремление к власти, бесконечная борьба и смертоубийство. Взглянуть на викторианскую цивилизацию с точки зрения Чарльза Дарвина – значит увидеть ее более ясно. Дарвин также соглашался с доктриной Мальтуса, гласящей, что популяции обречены на вымирание, поскольку их численность растет быстрее, чем количество доступных им ресурсов. Где-то здесь, вероятно, кроются истоки викторианской меланхолии, сыгравшей в истории не менее важную роль, чем викторианский оптимизм.

В свете всего сказанного неудивительно, что изучение Евангелий постепенно уступало место стратиграфическим изысканиям. Пожалуй, столь же неудивительно, что нонконформисты интересовались этим предметом намного больше, чем англикане. Геология стала самой популярной из наук: ее приверженцы могли свободно рассуждать о временных периодах протяженностью в миллионы лет. Самая важная особенность геологической науки в XIX веке заключалась в том, что ею занимались по большей части непрофессионалы, движимые чисто интеллектуальным любопытством. Геологические изыскания были излюбленным занятием священников. Однако самой известной из непрофессиональных исследователей стала Мэри Эннинг из Лайм-Реджиса, родившаяся в 1799 году. Ее отец был краснодеревщиком, но вскоре почти оставил свое дело ради охоты за ископаемыми. Лайм идеально подходил для этой цели. Местные скалы быстро разрушались, и скрытые в них окаменелости можно было брать практически голыми руками. С юных лет Мэри Эннинг сопровождала отца в его экспедициях, – вероятно, именно его советы вкупе с приобретенным личным опытом развили у нее почти сверхъестественную способность распознавать и идентифицировать останки ранее неизвест-

ных видов. По словам подруги детства, она была «энергичной молодой особой с независимым характером и не слишком интересовалась светскими церемониями». Обычно это связывали с тем, что в возрасте пятнадцати месяцев Мэри выжила после сильного удара молнии, от которого скончались три других человека. До этого, как многие другие дети в Лайме, она была слабым и болезненным младенцем, но с тех пор стала оживленной и предприимчивой.

После смерти отца Мэри не оставила своего увлечения – даже наоборот, приступила к более активным поискам «крыльев Купидона», «дамских пальчиков», «чертовых ногтей» и прочих ископаемых. Часть найденных окаменелостей она продавала приезжим около остановки дилижанса у трактира «Блю Капс Инн» в Лайме. За один аммонит, выложенный на стол вместе с остальными находками, она могла запросить полкроны. Однако первый большой успех пришел к ней летом 1811 года, когда ее младший брат Джозеф наткнулся в скалах на голову какого-то животного необычной формы. Голова обнаружилась в геологическом образовании Блю-Лиас, состоящем из известняка и сланца. Джозефу было некогда заниматься раскопками, и эта работа выпала на долю Мэри. Потребовался год осторожных кропотливых раскопок, чтобы освободить животное, на первый взгляд напоминавшее большого крокодила. Соединив его кости, одну за другой, в единое целое, Мэри воссоздала существо длиной более 17 футов (5 м). Позднее его назовут ихтиозавром. После этого Мэри Эннинг стала знаменитостью. Коллега-энтузиаст Джон Мюррей писал: «Однажды я с радостью воспользовался возможностью совершить вместе с нею геологическую прогулку и был немало удивлен ее тактом и проницательностью. Ей достаточно было бегло взглянуть на краешек окаменелости, выступающей из массива Блю-Лиас, чтобы определить и немедленно объявить ее природу, название и характер».

Многих поражало, что эта «бедная невежественная девушка» способна разговаривать на языке науки с профессорами и выдающимися геологами и обладает не менее обширными познаниями. Однако ее имя не упоминали в лекциях, и ее не приглашали на научные семинары. Она была всего лишь женщиной. Она писала своей подруге Анне Марии Пинни: «Свет обходился со мной так сурово, что, боюсь, это сделало меня подозрительной ко всему человеческому роду. Надеюсь, вы простите меня, хотя я этого не заслуживаю. Как я завидую вашим ежедневным визитам в музей!» Сама Пинни писала о ней: «Ученые мужи высосали ее мозг и многого добились, опубликовав работы, содержание которых было продиктовано ею, в то время как сама она не получила от этого никакой выгоды».

Итак, в первые десятилетия XIX века стремящиеся к свету напрасно искали бы этот свет в трактатах Джона Генри Ньюмана или евангельских миссиях Чарльза Сперджена в Саутворке. Они могли обратиться к Хэмфри Дэви и началам электрохимии, к Джону Далтону и атомной гипотезе, Майклу Фарадею или Томасу Янгу. Конечно, религия еще не была окончательно забыта. Такие исследования, как «Рассуждения о предметах, преимуществах и удовольствиях науки» (*Discourse on the Objects, Advantages and Pleasures of Science*; 1826) Генри Брума, напечатанные Обществом распространения интеллекта, считались перспективным направлением естественной теологии. Чарльз Лайелл в книге «Принципы геологии» (*Principles of Geology*; 1830–1833) заявлял: «Мы обнаруживаем повсюду ясные доказательства работы Разума Творца, Его дальновидности, мудрости и могущества». Этот подход, освобожденный от дикарского видения Дарвина, был предпочтительней проповеди в соборе Святого Павла.

4

Неспокойный мир

В августе 1822 года Каслри перерезал себе горло перочинным ножом. Бесконечная выматывающая работа и необходимость постоянно сохранять бдительность сделали свое дело. За несколько дней до этого он отвечал невпопад и вел себя странно, а когда домашний слуга попытался его подбодрить, он приложил руку ко лбу и пробормотал: «Я совсем обессилел. Совсем обессилел». Он попросил аудиенции у короля, признался ему в своей гомосексуальности и заявил, что готов бежать из страны, прежде чем его разоблачат. Он вел себя до того странно, что король счел нужным предупредить о его состоянии лорда Ливерпула. Каслри был уверен – возможно, так проявлялась последняя стадия нервного срыва, – что три года назад его заметили в мужском борделе и до сих пор продолжают этим шантажировать. Возможно, он был прав; возможно, нет – в пользу этого есть некоторые анекдотические свидетельства, – но примечательно, что его разум ослабел именно в то время, когда Лондон был захвачен гомосексуальным скандалом в графстве Тирон, где епископа Клогерского застали с солдатом. Чтобы избежать оглушительного, как ему казалось, публичного и частного скандала, Каслри зарезался.

К концу 1820 года стало очевидно – и по людям, и по принимаемым ими мерам, – что кабинет должен или измениться, или пасть. С уходом Каслри правительство Ливерпула получило серьезный удар. Стало также ясно, что его место придется занять первому противнику Каслри – Джорджу Каннингу. Каннинг был уже готов ехать генерал-губернатором в Индию, но не смог устоять перед соблазном занять высокий пост на родине. Никто не мог сравниться с ним в популярности или красноречии. Только у него хватало внутренней энергии и политического интеллекта, чтобы вести дела в Министерстве иностранных дел и одновременно возглавлять палату общин. Однако благодаря своим симпатиям к католикам он нажил много врагов. О Каслри говорили, что каждая произнесенная им речь приносила ему одного нового друга, – о Каннинге говорили, что он терял одного друга каждый раз, когда открывал рот. По словам Уилберфорса, хлыст его сарказма «сорвал бы шкуру даже с носорога». Он был постоянно погружен в заговоры и интриги. Казалось, он не мог «даже выпить чаю, не разработав для этого какую-нибудь хитроумную стратегию». В сущности, он проводил почти такую же политику, как Каслри, только делал это более напористо и явно. К большой досаде приверженцев старой школы, он был политиком другого типа. Он действовал открыто. То, что его мать была актрисой, не добавляло ему преимуществ, но ему не требовалось благородное происхождение, чтобы добиться успеха. Как только он занял место в кабинете, стали говорить, что он выглядит и ведет себя как премьер-министр. Веллингтон упоминал, что Каннинг способен в считанные минуты вывести его из себя. Он, как выразился один современник, «постоянно созидал и уничтожал». Многие говорят о разнице между тори, тяготеющими к вигам, и ультратори, но эти слова значат очень мало, и, пожалуй, лучше говорить о тех, кто поддерживал Каннинга, и о тех, кто его не переносил. Что касается лорда Ливерпула, то он, еще более сдержанный и отстраненный, чем когда-либо, придерживался золотой середины.

Лорд Ливерпул принял в свое правительство подкрепление в виде группы разочаровавшихся вигов под руководством лорда Гренвилла, искавших должностей и жалований. Маркиз Бэкингам получил герцогство, а один из его помощников – место в кабинете министров. От этого выиграли все. Правительство Ливерпула еще более оживилось благодаря уверенному восхождению Роберта Пиля. Пиль стал главным секретарем Ирландии в возрасте двадцати четырех лет и, по общему мнению, хорошо себя зарекомендовал. Он в самом деле прекрасно справлялся со своими обязанностями и в 1822 году впервые вошел в кабинет в качестве мини-

стра внутренних дел. Тогда же к кабинету присоединился Уильям Хаскиссон из Торговой палаты. Смена состава оказала на правительство благотворное, хотя и не мгновенное действие. Оно стало казаться более сильным и выносливым, наполнилось энергией новых устремлений. Некоторые наблюдатели не соглашались с тем, что «та Тварь» может измениться. «Конечно, – писал Коббет, – когда один умирает или перерезает себе горло (как это случилось с Каслри), на его место приходит другой. Сущность явления от этого не меняется».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.